

Константин Воробьев

Генка, брат мой...



*Часть сборника
Вот пришел великан (сборник)*



Константин Воробьев

Генка, брат мой...

«ЭКСМО»

1968

Воробьев К. Д.

Генка, брат мой... / К. Д. Воробьев — «Эксмо», 1968

«Я минут на двадцать опоздал, но Генка не ушел – сидел в машине и ждал. Она была пыльная, неприбранная, и я помыл ее снаружи и протер внутри. Из паза отопления торчал красный лист клена, и я выкинул его вон.– Мешал он тебе, да?Генка глядел на меня заморенно и жалобно. Брюки его вздулись на коленках пузырями. Такую дешевку надо гладить каждый день, а не раз в месяц. Рубаху б тоже можно было не занашивать черт-те до чего, но это его личное дело... Я выкинул кленовый лист и не стал объяснять, что он похож на огонь. Будто забыл, как мы горели? А машину Генка мог бы сдавать мне чистой, – как ни опасайся, но шлангом все равно что-нибудь испачкаешь на себе, а потом всю смену ездил в плохом настроении...»

© Воробьев К. Д., 1968

© Эксмо, 1968

Константин Дмитриевич Воробьев

Генка, брат мой...

Записки таксиста

Я минут на двадцать опоздал, но Генка не ушел – сидел в машине и ждал. Она была пыльная, неприбранная, и я помыл ее снаружи и протер внутри. Из паза отопления торчал красный лист клена, и я выкинул его вон.

– Мешал он тебе, да?

Генка глядел на меня заморенно и жалобно. Брюки его вздулись на коленках пузырями. Такую дешевку надо гладить каждый день, а не раз в месяц. Рубаху б тоже можно было не занашивать черт-те до чего, но это его личное дело... Я выкинул кленовый лист и не стал объяснять, что он похож на огонь. Будто забыл, как мы горели? А машину Генка мог бы сдавать мне чистой, – как ни опасайся, но шлангом все равно что-нибудь испачкаешь на себе, а потом всю смену едешь в плохом настроении...

– Тебе куда? Домой?

Мне хотелось сказать это как-нибудь порезче, – нашел дурачка, чтоб мыть каждый раз, – а получилось ни то ни се. Эти его какие-то сиротские черные глаза. И пузыри на коленках. И рубаха. И весь он сам...

Я вырулил за ворота парка, и Генка сказал:

– Мне, пожалуй, следует закусить. Ты не против?

Это чтоб в машине. Чтоб мы выехали за город в наш перелесок, где когда-то горели. Там я должен остановиться и подождать, пока он высосет четвертинку и съест халу с ливерной колбасой. Он будет есть и отрешенно глядеть сквозь ветровое стекло, и я скажу ему тогда что-нибудь ласково-остервенелое, утешительное для обоих. Потом Генка до ночи будет ездить со мной, и план я не выполню. Впрочем, это пока неизвестно. План смены зависит не от шофера, а от первого пассажира. Не знаю, как там другие таксисты, а мы с Генкой хорошо знаем, что дело – в первом пассажире. Смотря как он тебя остановит. Как откроет дверцу, как сядет, что скажет и как на тебя взглянет... Конечно, мне трудно объяснить это, потому что научной основы под такое не подведешь, но и суеверия в этом никакого нету. Может, причина тут заключается в том, что от хорошего человека всегда исходит только хорошее – настроение, удача, надежда – и мало ли что еще! Все дело в щедрости таких людей, и речь не о чаевых, а совсем о другом, – разве ты сможешь взять с него лишнее и показаться хуже его?! Речь совсем о другом, чего я не могу выразить словом. Просто мы знаем с Генкой, что такое хороший и плохой пассажир и что он несет людям вообще и нам с ним, таксистам, в частности...

Я ехал тихонько, прижимаясь к тротуару. Было пыльно и по-полуденному душно. В городе желтели липы, хотя стоял август. В лесу они еще зеленые, а тут... Что значит неволя! Их ведь перевезли сюда силком, взрослыми, с оборванными корнями.

– Сочинил что-нибудь? – спросил я у Генки. Я спросил об этом, как всегда – безразлично: по-другому почему-то не мог. Возможно, во мне скрывалась зависть? Может быть... Генка не шелохнулся, но по тому, как сузились и блеснули его глаза, я понял, что сочинил.

– Она там? – показал я на багажник. Он кивнул и отвернулся, а я прибавил газ и свернул в переулок, ведущий к загородному шоссе. Мы оба знали тут продовольственную лавчонку-полу-подвал. Там работали две продавщицы – уже пожилые, веселые и добрые: у них, например, всегда можно было получить алкогольный напиток раньше десяти часов утра. Генка побежал и вернулся с халой, колбасой и четвертинкой, но я забыл потушить зеленый глаз, и минуты за две раньше Генки к машине подошел пассажир. Первый. Мой. Это была приземистая толстая дама в дорогом шелковом платье. Она подошла и зачем-то постучала свернутым зонтиком по

капоту машины, хотя дверные стекла были опущены. Конечно, я открыл бы ей дверцу, но она стучала, а сама глядела куда-то в сторону, и я попросил ее не портить облицовку.

– Свободен аль нет? – спросила дама, гневаясь. Я выключил зеленый глаз и завел мотор, но Генка уже все видел и слышал. Он сложил снесь на заднее сиденье и кивнул мне, чтоб я пересел туда.

– Куда вам надо? – галантно спросил он пассажирку, но она сначала внедрилась в машину на переднее сиденье, а затем уже сказала «давай на Заречную». Это было недалеко, хотя и не по пути нам, и Генка сказал «слушаюсь» и развернул машину. Зареченская мостовая – гибель для покрышек и амортизаторов, и все же Генка – как и любой шофер – мог проехать по ней неощутимо, если б хотел, но мы сквозили, что называется впронос, и пассажирка раза два искося взглянула на Генку, а когда он чересчур резко тормознул, спросила нас обоих:

– Вы чево это?

– А чево? – осведомился Генка.

– Трясете, как незнамо кто!

– Чай, она отечественная, дорога-то! – в тон ей объяснил Генка.

– Вот и ехай, как надо! А то нахрюкался и преть! – сказала дама. Генка подрулил к тротуару и прокрутил рукоятку счетчика.

– Дальше, миледи, не едем. С вас двадцать шесть копеек, – изысканно сказал он. Дама нехорошо выругалась и пригрозила милицией, а я вежливо спросил, есть ли у нее дочка.

– А тебе чо? – обернулась она. Я немного помолчал, – на таких, как она, всегда почему-то пугающе действовали моя ослепительная финская нейлоновая рубашка и французский галстук, заколотый старинной русской булавкой с настоящей золотой цепочкой. Кроме того, на мне были брюки из стопроцентной английской шерсти и югославские башмаки... Я помолчал и затем серьезно сказал:

– Понимаете, это очень нужно. Пожалуйста!

– Ну есть! Ну и чо?

– Не дай бог такую тещу, правда, Ген? – сказал я Генке.

До своего перелеска мы ехали молча. Там Генка вдруг засмеялся и сказал:

– Думаешь, она запомнит номер? Она ж передний и задний смотрела. Они для нее разные, понял? А двадцать шесть копеек я отдам тебе в получку...

Ему почему-то было весело, а мне нет.

Мы загнали машину под свой крушиновый куст, где когда-то горели, и Генка принялся за еду, а я пошел побродить по воле. Орехи уже поспевали, но попадались редко: всюду валялись лещиновые ветки и молозиевая ореховая скорлупа, будто тут промчалось кочующее стадо обезьян, а путь назад им был заказан. Над полянами крутыми спиралями летали шмели и шершни. В верхушках сосенок стрекотали сороки. В тени дубовых пней отыскивались высокие былинки запоздалой земляники, а липы были зеленые и сочные и от них пахло медом. Нет, осень придет сюда еще не скоро...

Генка двумя короткими условными ударами посигналил мне, и я пошел к машине. Мы всегда так делали: если один, сменившийся, выпивал и закусывал, то другой – раз ему надо было выезжать на линию – уходил прочь, чтоб не согрешать и не расстраиваться. Генка сидел на заднем сиденье задумчивый и сытый. Я открыл багажник и достал гитару. Она была одета в мою старую итальянскую куртку с белым искусственным ворсом внутри. Гитаре было хорошо в этой куртке – мягко и безопасно. Я передал ее Генке, а сам сел к рулю. В стороне по шоссе проносились невидимые «МАЗы», – километрах в пяти от него был песчаный карьер. Я прислушивался то к натужному вою машин, то к лесной тишине и ждал, когда взвизгнет молния на куртке и Генка разденет гитару. Его нельзя было торопить ни словом, ни жестом. Тут он должен был делать все сам, один, когда захочет.

– Ну, будешь слушать? – ворчливо спросил Генка. Это, наверно, тоже нужно было ему – сперва спросить, а потом спеть свое новое. Я знал, что отвечать ему просьбой нельзя, – тогда у него «сжеживался» голос, – и промолчал. На наш куст села сорока – никель машины, наверно, привлек – и заверещала, будто ее раздирали надвое. Я высунулся и шугнул на нее, а Генка в это время попробовал лад гитары и запел:

Небо серое, небо синее,
небо алое от зори.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори.
У тебя под ногами земля,
и в душе словно тысяча звезд...
По мирам пройди
и любовь найди,
и в себе ты ее сохрани.
Ты узнаешь и счастье, и горе,
ты приветить тоску и печаль,
ты облазишь и горы, и море,
и тогда ты меня повстречай...
Небо серое, небо синее,
небо алое от зори.
Погляди в него,
полюби его
и судьбу свою не кори!..

Мне и самому показалось диким, что я заплакал. Наверно, причина тут крылась в самом Генке, в его короткой, как детская рубашонка, судьбе, а не в словах и мотиве песни, хотя они тоже что-то значили, – до этого Генка сочинял какие-то похоронные куплеты. Мне они не нравились. Кому ты нужен, если слаб? Подумаешь, развел нуду! Вот я и толковал ему про небо над головой и про землю под ногами. И чтоб он считал ее своей личной, а тогда пускай кто-нибудь попробует отнять это у него!..

Мы сидели и молчали – я за рулем, а Генка там, сзади. Мне не хотелось, чтоб он заметил, как я плакал. Это ему ни к чему: кто-то из нас должен быть сильным, иначе мы не то что пропадем, но потеряемся в жизни, и она излохматит нас обоих... Я завел мотор и двинулся к шоссе. Была та предвечерняя пора, когда фары зажигать рано, а глазам уже трудно. Я украдкой заглядывал в зеркало и видел Генку. Он какими-то расслабленно-нежными движениями одевал гитару, и рожа у него была странная: наполовину мечтательная, наполовину хитрая, – заметил, значит, что я плакал. Мне надо было сказать ему что-нибудь такое, чтобы мы опять оказались каждый на своем месте, и я выбрался на шоссе и тоном старшего сказал:

– Слова годятся, а мотив не тот. Надрыв тут ни при чем, понял?

– Да ну? – засмеялся Генка.

– На руле баранки гну! – сказал я.

– Ну дай одну, – объявил Генка. Я развил бешеную скорость, достиг города и затормозил у подъезда своего дома. Генка пересел ко мне вместе с гитарой и сказал:

– Ладно, критик-шитик, давай сдвинем поцелуй!

Мы поцеловались дважды. От Генки пахло «ерофеичем», маком и ливеркой. Я сказал, чтобы он никуда не уходил, вымыл в комнате пол и погладил свои брюки и мою рубашку.

Наш город не какая-то там Гавана, – кроме трех центральных магистралей да площади в нем не только подфарниками, но и ближним светом не обойдешься, и на первом же перекрестке я не вовремя переключил фары. Старшина-регулировщик выдал мне квитанцию стоимостью пятьдесят копеек, сверил свои часы с моими и попросил подкинуть его домой. Я сказал «ради бога», и мы поехали к чертям на кулички – в пригород. Настроение у меня было железное: план ведь рухнул еще в начале смены, – на то и существуют первые неприятные пассажиры. А старшина оказался из вежливых, – он попрощался со мной за руку и поинтересовался, как жизнь...

Я намотал уже тридцать шесть километров холостого пробега, что на языке нашего таксопаркового начальства называется плохим коэффициентом, халтурой и рвачеством. Что ж, начальству с горы жизнь видней. Я тихонько ехал в центр, к главной своей стоянке, притормаживая у автобусных остановок, редких тут закусовых и пивных, но пассажиры не попадались. Недалеко от привокзальной площади меня суетливо остановила старушка, одетая по зимнему, – в валенки и телогрейку, опоясанную льняным полотенцем, расшитым красным гарусом. У нее была кладь – широкий, сшитый из рябой попонки мешок, набитый чем-то тяжелым и мягким. Я втиснул его в багажник, и старушка села на заднее сиденье, чтоб поближе, наверно, быть к мешку. Я спросил у ней, куда ехать. Она сказала «на железную станцию» и попытала, дорого ли запрошу. До вокзала было метров восемьсот. Старушка сидела, напрягшись, обратив ко мне ухо.

– Говорю, чи много ль возьмешь?

– Рублей пять, не больше, – сказал я. Она, видать, собралась в дальнюю дорогу, раз оделась в зимнее, и я не стал включать счетчик, – с гривенника начинать план не стоило.

– Милый, да как же это? Погоди-ка... Со мной всего-то капиталу одиннадцать рублей! А мне аж до города Талпеды ехать...

– Как-нибудь доберешься, – сказал я. Мы уже подъехали к вокзалу. Я вылез и достал из багажника мешок. На весу нести его было трудно, а на плече – нельзя: что потом станет с моей рубашкой? Нужна была газета – старая, с засохшей краской, и я побежал за ней в вокзальный киоск. Когда я вернулся, старушка в прежней позе сидела в машине.

– Не доеду теперь... Пропаду, – покорно, на одной ноте сказала она, глядя на меня беспомощно и ласково, – наверно, древние верующие люди встречали таким взглядом свою смерть. Бабка протягивала мне темную сморщенную жменю, и я разглядел там ветхую чистенькую пятерку, сложенную в три сгиба.

– Ты чего это надумала? – сказал я. – Как же ты прожила жизнь? Я пошутил, а ты... Как же ты прожила?! Спрячь деньги!

– Так неш я знаю? Ты на меня не сердись, милой... Я в город Талпеду, к зятю еду.

Я не слышал, чтоб на свете был такой город, и сказал:

– Сволочь твой зять, вот кто!

– Да не-ет, – не согласилась она, – Михалыч-то хороший! Он там на корабле рыбу полонит.

– В Клайпедде, что ль? – спросил я.

– Ага, в ей, в Талпедде... А ты не сердись, ладно?

– Сама ты Талпедда, – сказал я, и мы пошли в вокзал – она впереди, а я с мешком сзади. Настроение у меня было то самое, что мы с Генкой называем железным...

Пока я пристраивал в вокзале мешок и его хозяйку, пошел дождь. Осадки таксистскому плану не помеха, если они затяжные, – людям все равно надо жить и передвигаться, но короткий тучевой дождь – плохо: жители нашего города предпочитают переждать его дома или в подъездах и не тратиться на вынужденное такси. Я поехал на ближайшую стоянку. Там уже припухали три наши машины, и в последней горел плафон: ребята забивали козла. Они позвали

меня «четвертым», но я не пошел. Эту игру, наверно, выдумали природные калеки или каторжане. Во всяком случае не сильные и не свободные в выборе развлечений люди.

В «Экране», что я захватил в вокзальном киоске, рекламировались съемки «Анны Карениной». Вронский с Анной тут были похожи на себя в такой же степени, как похожи мы с Генкой на испанских рыцарей. Не больше. Что ж, наверно, трудно актеру или актрисе подделаться под каких-то там князей и княгинь. Наверно, не простое это дело... А вообще-то в настоящей жизни подделаться под кого-то можно. И легче подделаться слабому под сильного, чем наоборот. Тут нужно только «напустить» на себя вид – заучить жест и слово, а вот сильному под слабого сыграть в жизни труднее, потому что в этом случае надо «спускаться», а полностью спуститься с «себя», по-моему, невозможно... Мне, например, легко играть перед Генкой роль сильного, потому что на самом деле мы с ним ровня. Во всем, кроме внешности: у меня серые глаза, русые волосы и рост сто восемьдесят сантиметров. Генка ж мне по плечо. Глаза у него карие, с цыганской поволокой, а нос трепетный, как у девчонки. Генка сентиментален. Он любит музыку, цветы, стихи и птиц. Его легко обидеть. Ну и что было б, если бы ему пришлось убедиться в том, что я в точности такой же, как он? Нет, Генке это не надо знать. Кто-то из нас должен быть сильным...

Нам с ним неизвестно, чьи мы родом и откуда мы, – судьба свела нас в детдоме, в войну, когда наши освободили Одессу и подобрали там беспризорников. Тогда нам было года по три, и с тех пор я старшинствую над Генкой...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.